

БОРЬБА ЗА НАСЛЕДИЕ

Смерть тех, кто творит бессмертные дела, всегда преждевременна.

Плиний Младший

О великих делах нужно судить, проникшись их величием: иначе мы рискуем внести в них собственные пороки.

Сенека Младший

15 июля 1750 года Татищев скончался. В прошлом столетии было записано восходящее к его внуку Ростиславу Евграфовичу предание о «чудесных» обстоятельствах кончины Василия Никитича. За два дня до смерти Татищев почувствовал ее приближение. Он верхом на коне отправился с внуком на кладбище, направив мастеровых туда же копать могилу. Вместе со священником он выбрал место около своих предков и проследил за работой мастеровых. Пригласив священника назавтра к себе, он возвращается домой. Там его ожидает курьер с указом об оправдании и орденом Александра Невского. Татищев поблагодарил письмом императрицу и вернул орден как уже ненужный. На другой день священник приготовил его к иному миру. Простившись с сыном, невесткой и внуком, он скончался при чтении Евангелия.

В 1886 году было опубликовано и так называемое «увещание» Татищева сыну, записанное якобы очевидцем его смерти. В «увещании» отражалась иная картина. Но ничего татищевского в нем и не было. Татищеву оно ошибочно было приписано издателем А. Дмитриевым лишь на том основании, что помещалось в одном сборнике с «Духовной».

Ни о каком помиловании в 1750 году говорить не приходится. Обвинения Сената и так никто всерьез не принимал. А в отношении действительной причины ничего не изменилось. Ростислав Евграфович, часто живший [329] у деда вместе с матерью, был, видимо, не очевидцем, а «послухом». Он мог слышать подобное от дворовых и крестьян Болдина. Незадолго до смерти Татищев сообщал в Академию наук о своей медицинской практике и просил химиков проанализировать состав некоторых употребляемых им лекарств. Татищев, в частности, успешно использовал сосновый сок в сочетании с настоями разных трав. Практические результаты его лечебной деятельности среди крестьян были поистине фантастическими. Они-то и могли более всего способствовать распространению представлений о нем как о чародее.

Лерх пользовался явно непроверенными слухами, уверяя, будто Евграф унаследовал от отца огромное состояние. После раздела имущества с матерью Евграфу достались деревни с четырьмястами душами (видимо, столько же составило ранее приданое дочери) и пять тысяч рублей долга с них. Правда, тринадцать с лишним тысяч рублей были отданы займы князю С.И. Репнину. Но Евграф не мог их получить и жаловался в письме к Черкасову, что может остаться «вовсе без пропитания». Судя по хозяйственному итогу, деревень Татищев не покупал и не стремился переложить на крестьян собственные трудности. Очевидно, от воплощения в жизнь предложений о смягчении наказаний беглым он бы не пострадал.

Гораздо большую ценность представляла библиотека и рукописное наследие Татищева. Отец понимал, что сын продолжателем его дела не будет. Поэтому он наказал передать исторические труды в распоряжение Черкасова. Елизавета Петровна (видимо, по представлению Черкасова) обещала даже заплатить наследнику за исторические рукописи. Правда, она могла руководствоваться иными соображениями, нежели Черкасов.

Отношение Евграфа к литературному наследию отца неизменно вызывало подозрение. Он явно не торопился передать рукописи. Кое-что он переписал для себя. Но и то вряд ли из-за заботы о памяти отца. Составил он также реестр библиотеки. А затем случился подозрительный пожар в деревне Грибанове, где якобы библиотека сгорела.

Большую часть книг Татищев хранил в Москве. В Грибанове могли попасть книги, перевезенные Евграфом из Болдина. Позднее, в начале 60-х годов, с Евграфом неоднократно имел дело профессор Московского университета Рейхель (выходец из Лейпцига). Миллер просил [330] Рейхеля выудить рукописи Татищева для издания. Но Евграф был «очень равнодушен к памяти и заслугам своего покойного отца», а из остававшегося у него большого собрания книг и рукописей многое уже истлело и стало нечитаемым. Все-таки кое-что Миллер получил. Видимо, по копиям Евграфа он и осуществил первое издание «Истории».

Г.Ф. Миллер в историографии более всего известен как один из родоначальников норманизма. Но его «диссертация» «Происхождение имени и народа Российского» (1749) была лишь повторением статей З. Байера. Только в отличие от Байера Миллер работал не просто в России, а и для России. Он сознавал себя российским ученым и являлся таковым на деле. Суровую критику его «диссертации» М. В. Ломоносовым, В. К. Тредиаковским и рядом других ученых и не ученых он принял поначалу запальчивыми выпадами в адрес оппонентов. Но затем, видимо, и сам понял, что познания его в этом важном и сложном вопросе недостаточны, и более к нему не возвращался, сосредоточившись на истории Сибири и архивных разысканиях.

В Академии наук Миллер имел почетное звание «историографа». Еще в 30-е годы он знал о занятиях Татищева историей. В 1737 году Шумахер советовал ему установить с Татищевым переписку. Но по скромности и просто из робости перед имевшимся уже у Татищева научным авторитетом он на это не решился. Зато с конца 40-х годов Миллер становится одним из главных радетелей за сохранение татищевского рукописного наследия, особенно исторического. В 1747—1748 годах он трижды обращается в канцелярию Академии наук с предложением приобрести татищевские рукописи, дабы они не погибли после смерти их владельца.

Миллер дает и чрезвычайно ценную характеристику Татищева как человека: «Господин тайный советник Татищев, как известно, человек не завидливый, но весьма откровенный в делах, до простирания наук касающихся, и охотно он сообщать будет, что у него есть, для списывания академии, а иногда он и сам изволит некоторые подлинные книги академии уступить». За два столетия немного наберется ученых, которые могли бы удостоиться такой оценки, и, пожалуй, ни один из «скептиков» не попадет в это число. Сам Миллер, человек высокой честности и добросовестности, с негодованием воспринял [331] попытку адъюнкта академии Тауберта воспользоваться материалами Татищева и опубликовать их под своим именем.

Татищев также ценил Миллера. Он просит Шумахера ознакомить Миллера со своей «Историей». Татищев оговаривается, что начало Руси он освещает иначе, чем Миллер. Но он «не хотел ни его порочить», ни свой взгляд «более изъяснять»: Миллер сам поймет, что к чему. Хотелось ему также, чтобы к этому делу приобщили и П. И. Рычкова, за принятие которого в академию Татищев не устал просить до самой смерти.

В январе 1749 года Татищев обращается с просьбой и к Ломоносову: написать посвящение к «Истории». Татищев высоко оценил «Риторику» Ломоносова (1748), о чем записал и в «Истории». В свою очередь, и Ломоносов высоко ценил Татищева и немедленно отозвался на просьбу, в январе же подготовив вдохновенное «посвящение». Ломоносову, однако, не понравилось, что Татищев без особого почтения и пиетета отзывался о Петре I. Он настаивал на исключении из «Истории» пересказанного выше разговора царя с Я.Ф. Долгоруким в 1717 году, видя в нем плохо замаскированную критику

деятельности преобразователя. Татищев же весьма высоко оценил «посвящение», но пожелание Ломоносова оставил без внимания. Этим самым он как бы выразил еще раз свое действительное отношение к «старой» и «новой» России.

Ни Татищев, ни Ломоносов не увидели в печати этого «посвящения». Первые три тома «Истории» вышли в 1768—1774 годах по спискам, его не включавшим. Четвертый том появился в 1783 году, а пятый лишь в 1847—1848 годах.

История находки списка пятого тома «Истории» сама по себе любопытна. Известный историк и собиратель рукописей М.П. Погодин купил в 1841 году на аукционе рукопись из библиотеки вологодского купца И.П. Лаптева. Рукопись оказалась продолжением «Истории» Татищева (еще не обработанным и не снабженным примечаниями). Как эта уникальная рукопись попала в коллекцию вологодского собирателя? Вопрос этот имеет и определенное практическое значение. Очевидно, не только пожар, но и иные причины способствовали растаскиванию рукописных фондов татищевской библиотеки, и вряд ли Евграф Васильевич стоял совершенно в стороне от [332] этого дела. Не исключено, что еще какие-то татищевские рукописи найдутся в фондах тех лиц, с которыми общался сын Татищева.

Лишь к середине XIX века были опубликованы важнейшие политические записки Татищева. А основной философский труд мыслителя вышел уже в 1887 году. Издатель его — известный биограф Татищева Нил Попов — имел в своем распоряжении четыре анонимные рукописи XVIII века. Теперь их известно семь. Опять-таки путь, каким сочинение вышло из татищевского собрания и распространилось в копиях, остается не вполне ясным.

Многие работы Татищева впервые увидели свет в самое недавнее время (большинство их собрано в избранных произведениях, как бы продолжающих новое издание «Истории Российской»), И каждая новая публикация открывает еще одну область, где Татищев был либо зачинателем, либо специалистом, стоящим вполне на уровне своего времени. Знаток XVIII столетия Д.А. Корсаков не преувеличивал, давая общую оценку деятельности Татищева: «Наряду с Петром Великим и Ломоносовым он являлся в числе первоначальных зодчих русской науки. Математик, естествоиспытатель, горный инженер, географ, историк и археолог, лингвист, ученый юрист, политик и публицист и вместе с тем просвещенный практический деятель и талантливый администратор — Татищев по своему обширному уму и многосторонней деятельности смело может быть поставлен рядом с Петром Великим». Эта характеристика может еще существенно дополняться за счет заново открытых сторон научной и практической деятельности Татищева. Так, надо отметить его педагогическую теорию и практику, его исследования в области финансов и денежного обращения, экономики, труды по механике, геометрии, разыскания в области минералогии, геологии, металлургии, искусства фортификации и градостроительства. К этому можно добавить искусство дипломатии, хорошее знание военного дела. Даже с врачами и фармацевтами Татищев мог разговаривать на профессиональном уровне, да и вообще трудно найти такую отрасль хозяйства или науки, в которой он не был бы на уровне лучших специалистов своего времени.

Сравнение с Петром I идет, конечно, как комплимент. Но, строго говоря, оно не вполне удачно. Два этих деятеля находятся в разных социальных плоскостях, и потому их [333] невозможно сопоставлять. Да и задачи у них были совершенно разные. Главное достоинство правителя — уметь отобрать из разнообразных предложений наиболее целесообразное по тому или иному вопросу. Главное достоинство мыслителя — уметь найти лучшее решение той или иной проблемы, поставленной жизнью. Петр к советам прислушивался. Но решал все-таки не всегда наилучшим образом. У Татищева почти всегда намечалось самое целесообразное для данного времени решение. Но он не располагал возможностями провести его в жизнь.

Историку очень трудно отказаться от перенесения в прошлое представлений и оценок своего времени. Обозревая с высоты времени процесс развития на длительном этапе, он невольно сосредоточивает внимание на тех фактах и событиях, на тех лицах и идеях, с которыми ближе всего перекликаются идеи современной эпохи. А между тем в каждую историческую эпоху для наиболее действенного движения вперед требуются свои специфические преобразования, которые для другого времени могут совсем не подходить.

Социальные организмы имеют разные измерения: государственный, национальный, классовый. Государственная система создается в результате процесса классовообразования, и дальнейшее ее развитие идет в ходе борьбы с внешними силами и разрешения внутренних противоречий. Диалектический закон единства и борьбы противоположностей в полной мере применим к взаимоотношениям классов в рамках единой государственной структуры. Между классами идет не только борьба. Они и необходимы друг другу до определенного периода. В рамках той или иной формации господствующий класс более или менее длительный период способен содействовать развитию производства, то есть играть прогрессивную роль. Борьба социальных низов в такие периоды выполняет как бы функцию корректора, подталкивающего верхи к возможно большему вкладу в общегосударственное дело. В кризисные для формации эпохи господствующий класс уже не в состоянии дать обществу больше, чем он потребляет сам, и его историческое существование лишается смысла. Он теперь лишь борется за свои привилегии, стремится любой ценой их сохранить, и историческая необходимость требует, чтобы он был устранен во имя блага общества в целом.

Русская история в большой мере деформировалась [334] внешним фактором. Татаро-монгольское нашествие растоптало не только производительные силы народов Руси, но и естественную логику событий. Освобождение от ига становится на долгое время определяющей задачей в жизни общества. В жертву этой идее необходимо было приносить интересы целых сословий, не говоря уже об отдельных личностях. Эта идея породила и чрезмерную централизацию, и неоправданную концентрацию власти в руках монарха, и привычку господствующего класса оправдывать свои злоупотребления ссылками на реальные или мнимые заслуги в прошлом или настоящем (чаще в прошлом).

В XVIII веке понятия «общая польза», «государственный интерес» становятся более употребительными, чем когда бы то ни было. Но именно в этот период они выступают прикрытием своекорыстных интересов дворянства. Правда, такое прикрытия требует, по крайней мере, двух вещей: во-первых, необходимо, чтобы каждое сословие хоть что-то бы имело от «общей пользы», во-вторых, чтобы господствующий класс делал бы какие-то реальные «отчисления» в общественный фонд. Обычно таким «отчислением» являлась пожизненная служба государю и государству. Но одно дело — служба в условиях суровых испытаний, связанных с внешними угрозами, а другое дело — имитация службы, к чему дворянство все более склоняется после 1725 года. Идея «общей пользы» предполагает также хотя бы самое общее определение сущности ее для каждого конкретного периода.

Особенность Татищева как мыслителя и администратора заключалась именно в том, что он и субъективно и объективно выражал содержание идеи «общей» или «государственной» пользы для своего времени. Сама эта идея была для него не простым лозунгом, а действительным смыслом существования и сословий и отдельных лиц. Татищев был одним из немногих деятелей XVIII века, кто дал целостный взгляд на роль абсолютно всех слоев общества в деле обеспечения могущества и процветания государства и подъема уровня жизни всех его подданных.

Подчинение всего мировоззрения идее «государственной пользы» делает Татищева мыслителем, лишенным однозначно выраженных классовых позиций. Дворянским идеологом его можно считать лишь в той мере, в какой Российское государство XVIII века

было дворянским, да, [335] может быть, в силу некоторых унаследованных им традиций. Однако для дальнейшего поступательного движения дворянское государство должно было реформировать себя таким образом, чтобы открыть дорогу буржуазному развитию. Именно за это Татищев и ратует.

Общественное благосостояние в конечном счете зависит от количества и качества труда, затрачиваемого подданными. Татищев не терпит никакого безделья, где бы оно ни выявлялось. Безделье — главное, что отвращает его в духовном сословии всех стран и религий. Трудиться должны все. Этого в крайнем случае можно добиться и понуждением. Но наиболее плодотворен такой труд, который вызывается собственным интересом трудящегося. Безусловное экономическое поощрение всякой сверхурочной работы — один из главных принципов Татищева, шла ли речь о службе администратора, или судьи, или же о труде крепостных крестьян и работных людей. Как сторонник и в значительной мере представитель государственного порядка Татищев никогда не пренебрегает административными мерами. Но они должны действовать все-таки лишь в том случае, если недостаточными или несостоятельными оказываются меры экономического характера.

Меры, предлагавшиеся Татищевым, действительно были бы весьма благотворными для поступательного развития всего общественного организма. Они казались Татищеву вполне возможными. Петр I выслушивал идеи Татищева с явным интересом, хотя и не спешил их воплотить в жизнь. Кое-что из похожих идей пытались осуществить верховники накануне их крушения. И вообще Татищеву трудно было уразуметь, почему же те, кто постоянно говорит о государственной пользе, не хотят принять предложений, имеющих в виду как раз общий интерес.

В конечном счете ошибка Татищева заключалась в том, что он переоценивал «честность» и приверженность государству класса дворян. Татищеву казалось, что он говорит на языке, понятном для всех дворян. А дворянство в лице Сената и многих крупных администраторов не без оснований увидело в этой речи угрозу для своих привилегий и побуждение к отработыванию того, что давалось даром как «первому» сословию. Трагедия Татищева заключалась в том, что было слишком мало шансов [336] на принятие его предложений каким-либо возможным в условиях XVIII века правительством.

Это не значит, конечно, что проекты Татищева вообще были утопичны. Ему, например, многое удавалось проводить в ведомствах, находившихся под его началом. В конечном счете проведение в жизнь всех его проектов не могло бы пройти более тяжело для дворянства, чем служба в петровское время или в годы бироновщины. Другие же сословия выигрывали от реализации таких проектов многократно, а это косвенно могло даже и положительно повлиять на состояние дворянских доходов. Но каким образом может оказаться у власти правительство, вдохновляемое в своих действиях соображениями государственной выгоды? Татищеву казалось, что такими соображениями должен руководствоваться прежде всего монарх. Но редкий монарх достаточно умен, чтобы понимать, в чем заключаются государственные интересы. Временщики же приходят к власти благодаря «пронырствам», и иначе при дворе, как Татищев мог неоднократно убеждаться, не бывает. Перед этим противоречием Татищев и остановился: почти все благое в России можно навязать лишь силой, через просвещенного монарха, но монархия порождает безответственных правителей — временщиков типа Меншикова, Бирона и т. п. В итоге Татищев знал, что надо было делать России, но он не знал, как можно было это сделать.

Должно подчеркнуть, что вопрос «что делать?» был поставлен Татищевым более обоснованно, чем кем бы то ни было в XVIII столетии. Предложения эти были реалистичны в том смысле, что весь необходимый для их реализации материал имелся в наличии. Если, например, идеи Радищева были явно нацелены на сравнительно отдаленное будущее («Я зрю сквозь целое столетие», — писал он сам),

то Татищев как бы шагал в ногу с самой историей, в ногу с теми потребностями, удовлетворение которых более всего продвигало общество вперед в данной конкретной обстановке. Поэтому даже с высоты прошедших столетий трудно посоветовать Татищеву что-то более конструктивное. В это время бессмысленным было бы и искать иного адресата: те слои, которые более всего могли бы выиграть от предлагавшихся мероприятий, еще не способны были добиваться их проведения в жизнь. Единственное, о чем можно сожалеть, — это слабое знакомство ближайших потомков с важными для [337] них идеями. И опять-таки сожалеть. Опасность этого Татищев вполне предвидел. Поэтому он так настоятельно ставил вопрос о необходимости допущения вольных типографий: как для процветания торговли и промышленности необходимо было «увольнение» купцов и предпринимателей, так и для процветания идей необходима была создание широкой сети независимых от казны книгопечатных заведений.

Пожалуй, только одна область деятельности Татищева стала известна широкому кругу читателей сравнительно скоро: «История Российская» вышла большим по тому времени тиражом в 1200 экземпляров. За Татищевым скоро признали значение родоначальника русской исторической науки. Однако оценка этого «начала» также оказалась далеко не однозначной. На протяжении двух столетий параллельно развиваются две противоположные оценки значения этого труда: позитивная и негативная. Расхождения в оценке «Истории Российской» проистекали уже из неодинакового понимания предмета истории. К XVIII веку в европейской историографии четко обозначились два направления. Одно из них, представленное так называемыми эрудитами, задачу истории сводило к собиранию и пересказу источников, иногда их изданию как именно источников. Другое направление требовало от истории не просто фактов, а смысла. Обычно это были исторические экскурсии мыслителей, политиков и философов. Между обоими направлениями неизменно шла довольно жесткая борьба, со взаимным полным отрицанием достижений друг друга. Из первого направления позднее разовьется позитивизм, в рамках которого культ факта нарочито направлен против теории, против отыскания смысла и даже глубинных причин явлений вообще. Позитивизму в буржуазной науке будет противостоять философская история, получившая законченный вид у Гегеля. Идея развития, наиболее полно воплощенная в сочинениях немецкого философа, станет затем важным элементом диалектико-материалистического понимания истории.

Труд Татищева обычно более или менее скептически оценивался представителями первого направления — эмпириками и позитивистами, а положительно его оценивали приверженцы философской истории. Сказывались также политические симпатии и антипатии отдельных авторов. [338]

Первый ком неблагожелательности в адрес Татищева как историка был брошен известным немецким ученым — одним из основателей норманизма — некоторое время работавшим в России А. Шлецером (1735—1809). Шлецер с высокомерным презрением относился ко всей русской историографии XVIII века, не исключая и Г. Миллера, который хотел бы видеть в Шлецере своего преемника в освоении богатейших архивных собраний. Татищев, по его изложению, «с 1720 г., быв еще писарем, начал уже помышлять о отечественной своей истории, занимался ею 20 лет с невероятным трудолюбием и мало-помалу составил 4 книги... состоящие из выписок из множества списков до 1462 г. Нельзя сказать, чтобы его труд был бесполезен (выключая 1 части о скифах и сарматах и др.), хотя он и совершенно был неучен, не знал ни слова по-латыни и даже не разумел ни одного из новейших языков, выключая немецкого. Окончив многотрудное свое сочинение, спешил оное напечатать; но нигде не мог исполнить своего желания: ибо по вольному своему образу мыслей навлек

на себя подозрение не только в духовном, но, что еще хуже, в политическом вольнодумстве».

Шлецер прав, называя причину замалчивания «Истории» Татищева, как и множества других сочинений, о существовании которых Шлецер вовсе не знал. Шлецер, конечно, вместе с теми, кто осуждает Татищева за его политическое вольнодумство: его собственные взгляды были вполне охранительными. Но место «Истории» и научная подготовленность Татищева оценены им далеко не академично. Татищев не только знал сам латынь, но и настаивал на ее широком изучении в организованных им школах. Знал он также древнегреческий. Помимо немецкого и польского языков, он был знаком с языками романской группы (у него встречаются сопоставления в написании и произношении французского и испанского языков). Знаком он был также, как говорилось выше, с тюркскими и угро-финскими языками.

В конце XVIII века «История» нашла и первого умного и энергичного защитника в лице И.Н. Болтина (1735—1792). Болтин противопоставлял Татищева Щербатову, с которым ему пришлось вести полемику. В отличие от своего оппонента, полагал Болтин, Татищев «прежде думал, соображал, поверял, справлялся и потом уже писал». По отношению к Щербатову Болтин был, [339] возможно, и не совсем справедлив. Но несомненно, что его собственное историческое мышление формировалось именно под влиянием Татищева.

Скептическому отношению к «Истории» много содействовал Карамзин Н.М. (1766—1826). Позднее М.Н. Тихомиров объяснил, чем был вызван скепсис Карамзина: наш первый историк не имел доступа к центральным рукописным собраниям и собирал материалы в основном по периферии. Карамзин же, напротив, работал с рукописями, находившимися в хранилищах Москвы и Петербурга. Карамзин думал, что все летописи восходят к какому-то единому оригиналу и должны давать одинаковый текст. Поскольку татищевский текст не соответствовал такому его представлению, он склонен был обвинять Татищева в вымыслах. В защиту Татищева вскоре выступили П. Бутков и М.П. Погодин. Бутков проиллюстрировал, в частности, как новые находки опровергали сомнения Карамзина: в 1817 году был найден список Судебника Ивана III, о котором имеется глухое упоминание у Татищева, затем были найдены указы о крестьянах 1597, 1601 и 1606 годов, которым Карамзин также не верил.

Решительным защитником чести первого историка выступил выдающийся историк прошлого столетия С.М. Соловьев. Он нашел совершенно несостоятельными подозрения в адрес Татищева как автора и человека и дал общую оценку его труду, которая не потеряла значения и в наше время. Значение Татищева по заключению Соловьева «состоит именно в том, что он первый начал обрабатыванье русской истории, как следовало начать, первый дал понятие о том, как приняться за дело, первый показал, что такое русская история, какие существуют средства для ее изучения».

Ряд ценных исследований о Татищеве вообще и его «Истории» в частности вышел в 1887—1888 годах в связи с чествованием двухсотлетия рождения Татищева. Особого внимания в этом ряду заслуживает тщательное сличение двух редакций «Истории» с летописями, проведенное И. Сениговым. Автор пришел к выводу о безусловной добросовестности Татищева как историка и высказал убеждение, что Татищев «тем больше будет возбуждать в нас удивление в своей плодотворной и замечательно разносторонней деятельности, чем пристальнее и внимательнее мы будем всматриваться и изучать как труды, [340] так и самую личность великого первоначальника русской исторической науки».

В советской литературе Татищев поначалу разделил участь всех деятелей русской культуры прошлого. В соответствии с вульгарно-социологическими пролеткультовскими и рапповскими установками он был объявлен крепостником, монархистом и

националистом, и если, скажем, в творчестве и деятельности его не обнаруживалось того, другого и третьего, то объяснялось это особой утонченностью в проведении классового интереса. Именно от такого рода представлений позднее пойдет прямое обвинение в фальсификациях источников в угоду тем или иным взглядам.

В пору преобладания идей национального нигилизма (характерных для школы М.Н. Покровского) особенно разительным убийственным представлялось обвинение в национализме. Но, в сущности, оно было комплиментом. Дело в том, что национализм в условиях позднего феодализма должен обязательно увязываться с развитием буржуазных отношений и вырастать из них. Национализм предполагает устранение межсословных перегородок, да и вообще феодальных привилегий. Не случайно, по Ленину, сам процесс формирования наций связывается со сменой феодальной формации капиталистической. Для России XVIII века национализм означал бы и подъем освободительного движения, поскольку царский двор контролировался иностранцами, а бироновщина явилась лишь наиболее одиозным проявлением иноземного господства. Независимо от субъективных намерений, подобные обвинения означали поддержку бироновщине, оправдание права иноземцев на господство в чужой стране.

В середине 30-х годов вульгарный социологизм был осужден. Но преодоление его - задача непростая. Дело в том, что он пользуется понятиями и терминами, употребляемыми в рамках методологии диалектического материализма. Отличительным признаком вульгарного социологизма является недооценка или даже полное отрицание чисто человеческих страстей, интересов и эмоций, самооценности искусства, патриотизма, забвение краеугольного положения методологии диалектического материализма о том, что истина всегда конкретна. Уже в 60-е годы повторял свои оценки начала 30-х годов С.Н. Валк, а в работах С.Л. Пештича они были доведены до крайности. Сокрушению Татищева, обвинению его [341] в фальсификациях посвящены две диссертации С.Л. Пештича. Представление о взглядах Татищева у автора менялось. Но самостоятельного значения в авторской концепции это не имело, поскольку главную задачу автор видел в установлении целей мнимых фальсификаций. Под пером Пештича Татищев предстал кровожадным палачом башкирского народа и даже антисемитом (последнее понятие проявляется лишь в конце XIX века!). В поддержку этой концепции выступили также Я.С. Лурье и Е.М. Добрушкин. Последний целую диссертацию (кандидатскую) посвятил доказательству недобросовестности Татищева в изложении двух статей: 1113 года (восстание в Киеве против ростовщиков и выселение иудеев из Руси) и 1185 года (поход Игоря Северского на половцев). Статья 1185 года в данном случае косвенно должна бросить тень и на «Слово о полку Игореве» (научный руководитель диссертанта — А.А. Зимин, выступивший недавно с концепцией о подложности «Слова о полку Игореве»). А.Л. Монгайт, еще недавно некритически использовавший любые известия «Истории» Татищева, затем круто переменял фронт и, доказывая подложность Тмутараканского камня, заодно обвинил в фальсификациях и Татищева. Созданный названными авторами образ историка-фальсификатора, реакционера и вообще нечистоплотного человека нашел отражение также в популярной литературе.

Если отвлечься от предвзятости, с которой подходили к Татищеву все названные авторы, то можно отметить у них некоторые общие методологические и фактические ошибки. С.Л. Пештич, в сущности, повторил ошибку Карамзина. Он сопоставлял «Историю» Татищева с такими летописями (Лаврентьевской и Ипатьевской), которых Татищев никогда не видел. Методологическая ошибка в данном случае заключается в неверном понимании источников, лежащих в основе «Истории», в неверном понимании сущности и характера летописания. С.Л. Пештичу, да и всем другим названным авторам, летописание представлялось единой централизованной традицией вплоть до XII века, и они не ставили даже вопроса о том, в какой мере до нас дошли летописные памятники домонгольской эпохи. Между тем летописание в таком виде в условиях децентрализации было просто невозможно. Изначально сосуществовали разные летописные традиции,

многие из которых погибли или же сохранились в [342] отдельных фрагментах. Татищев же пользовался такими материалами, которые на протяжении веков сохранялись на периферии и содержали как бы неортодоксальные записи и известия.

С блестящей защитой татищевского историографического наследия выступили академики М.Н. Тихомиров и Б.А. Рыбаков. Ряд уникальных параллелей для данных Татищева обнаружил В.И. Корецкий. Появились публикации, в которых ставится проблема уже не «татищевских известий», а татищевского метода работы с источниками. Последнее весьма плодотворно. Если после работ М.Н. Тихомирова, Б.А. Рыбакова и целого ряда других советских и зарубежных ученых субъективная добросовестность историка уже не может вызывать сомнений, то вопрос о способах его работы нуждается еще в более внимательном изучении.

Не говоря уже о том, что для решения вопроса о происхождении «татищевских известий» надо хорошо представлять круг и характер возможных источников, использованных Татищевым, важно не отрывать «Историю» от других сочинений Татищева. Татищев был историком во всех своих записках. Во всех них имеются исторические справки. Многие из этих записок появились ранее «Истории» и независимо от нее. Позднее материал этих записок, конечно, использовался и при написании «Истории». Задача, следовательно, заключается в том, чтобы выяснить, какими материалами мог воспользоваться Татищев при подготовке того или иного своего проекта. А это ведет к необходимости возможно более полного выявления круга лиц, с которыми Татищев поддерживал деловые отношения.

Биографией Татищева занимаются в настоящее время и у нас, и за рубежом. Так, в ГДР в 1963 году вышла книга о Татищеве Конрада Грау. Большое исследование о жизни и деятельности Татищева опубликовано в 1972 году Симоной Блан (Лилль).

Интерес к Татищеву в нашей стране особенно заметно возрос в последние годы. Этому способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, повысился интерес к прошлому страны, в особенности к ее культурному наследию. Во-вторых, в 50—60-е годы было издано и переиздано большое количество сочинений Татищева, хотя и крайне незначительным тиражом («История Российская» вышла в количестве от 2600 до 3000 экземпляров). [343]

Как никогда широким стал в последние годы круг лиц, открывших для себя Татищева и включившихся в изучение или пропаганду его деятельности и творчества. Все новые и новые диссертации и публикации расширяют наши представления и о методах работы, и о круге занятий, и о мировоззрении Татищева. В исследование наследия Татищева включаются, помимо историков, географы, лингвисты, философы, юристы, экономисты. Многие делают московские и свердловские краеведы. Обращаются к Татищеву писатели и деятели киноискусства. И хотя до однозначной оценки татищевского наследия еще далеко, точки зрения все более сближаются.

В последние годы издан целый ряд работ, разных по стилям и жанрам, по оценке, но объективно способствующих объемному восприятию многогранной фигуры мыслителя, ученого, деятеля. В первую очередь в этом ряду следует назвать книги А.Я. Гордина, А.И. Юхта, Г.З. Блюмина, И.М. Шакинко.

Книга Гордина «Хроника одной судьбы» (1980) — художественно-документальная повесть. Писатель стремится представить Татищева как личность в целом и решает частные вопросы с учетом логики поведения, свойственной тому или иному типу деятеля, темперамента, характера. Автор четко выявляет главный стимул в деятельности Татищева: служение отечеству. А затем уже оказалось возможным сравнительно легко объяснять те или иные конкретные поступки, высказывания и мысли героя повести. Автор уверенно снял с Татищева все еще повторяющиеся наветы о «взятках». И сделано это не только путем анализа следственных дел, а и простым сопоставлением, что и сколько Татищев «нажил». Итог оказался более чем скромным, а

баланс полученного от общества и отданного ему складывается решительно в пользу последнего. Четко и выпукло представлены у Гордина и просветительские черты мировоззрения Татищева.

Пожалуй, автор слишком развернул Татищева на Запад. Дело-то ведь не в том, где взяты те или иные идеи, а в том, взяты ли они напрокат как отражение моды или же используются для решения актуальных проблем собственной страны. Нетрудно заметить, что Татищев всегда шел от задач, поставленных жизнью, и лишь жизненные задачи и стремился разрешить. Излишне настойчиво повторяет автор и то, что Татищев был прежде всего историком. Дело в том, что он был не только историком, и для [344] страны, может быть, важнее были его социально-политические, правовые и экономические идеи, которые многое могли бы подтолкнуть в развитии, если бы их удалось довести до широкого читающего круга. И, очевидно, не случайно был создан мощный заслон этим идеям и в правящих кругах, и в руководстве Академией наук.

В свое время В.Г. Белинский со свойственной ему глубиной заметил: «Признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные люди, беспачпортные бродяги в человечестве. Как бы не уверяли они себя, что живут интересами той или другой, по их мнению, представляющей человечество страны, — не верю я их интересам. Любовь часто ошибается, видя в любимом предмете то, чего в нем нет, — правда; но иногда только любовь же и открывает в нем то прекрасное или великое, которое недоступно наблюдению и уму». В книге Гордина постоянно ощущаешь эту любовь (и поэтому странно, что в библиографии упомянуты почти исключительно скептики, а имен М.Н. Тихомирова и Б.А. Рыбакова вообще нет). С любовью к предмету разысканий написана также повесть Г. Блюмина «Юность Татищева» (Л., 1986) и книга И.М. Шакинко «Василий Татищев» (Свердловск, 1986). Авторы сознают, что великое нельзя понять через приземленное обыденное восприятие. Надо либо встать вровень с ним, либо сохранить дистанцию, памятуя, что ореолом великое окружает только время.

Книга А.И. Юхта «Государственная деятельность В.И. Татищева в 20-х — начале 30-х годов XVIII в.» (М., 1985) интересна обилием фактического материала на сравнительно ограниченном временном отрезке. Автор заново проверил архивные материалы, некогда введенные в научный оборот Н. Чупиным и В. Рожковым и в самое недавнее время Г.А. Протасовым. Самостоятельное значение имеет исследование денежного обращения в России 20-х годов и деятельности Татищева в этой области. И хотя в общей оценке взглядов Татищева автор более склоняется к концепции С.Н. Валка и С.Л. Пештича, приводимый в книге материал постоянно подводит автора к выводам, по существу, разрушающим некоторые исходные посыпки. Так, автор признает, что Татищев в теории выступал против крепостного права, то есть придерживался просветительских взглядов на этот вопрос, что он был прежде всего «государственником», то есть выходил за пределы узкоклассового интереса. Именно с [345] позиций государственного интереса, «общей пользы» Татищев стремился решать все важнейшие проблемы, встававшие перед ним, и нам теперь представляется возможность судить, насколько верно понимал он эти интересы.

Понять «Историю» Татищева нельзя, не поняв самого Татищева и его эпохи. Но и понять Татищева трудно, не вчитываясь в его исторический труд, особенно во вводные его статьи и примечания. Татищев, как отмечалось, был историком в самом широком и ответственном смысле этого слова, — он мыслил исторически. Для него явление никогда не ограничивалось тем, чем оно виделось современникам. Он стремился понять, как явление стало именно таким. Доискивание до причин — отличительная черта всей научной и практической деятельности Татищева. Принцип

историзма, свойственный Татищеву во всех его начинаниях, и повел его в конечном счете к созданию капитального труда по отечественной истории.

За более чем тридцатилетний период, естественно, менялись не только представления Татищева о той или иной эпохе, но и взгляд на историю в целом. С самого начала он задумал дать своеобразную летопись — сводку найденных в источниках сведений в хронологическом порядке. Эта форма в значительной мере сохранилась и на последних стадиях работы. Но содержание теперь уже разрывало когда-то избранную форму.

Поначалу Татищеву казалось, что для познания истории достаточно найти хорошую рукопись летописи и внимательно ее прочесть. Но вот ему попалась другая рукопись, и оказалось, что обе они говорят об одних и тех же событиях весьма различно, а о многих важных действиях не упоминают вовсе. Обнаружив это, Татищев ищет наиболее полные списки. Пока еще он думает, что можно их просто соединить, исправив один другим и устранив явные противоречия. Но противоречий становится все больше, а неполнота данных ощущается тем более, чем далее проникает взгляд пытливого исследователя в глубину веков.

И Татищев приходит к пониманию того, что останется недоступным еще многим поколениям историков: «летописцы и сказители» «за страх некоторые весьма нужные обстоятельства настоящих времен принуждены умолчать или переменить и другим видом изобразить», а также «по страсти, любви или ненависти весьма иначе, нежели сущее делалось, описывают». Следовательно, рассказ [346] летописца — это еще не сама истина. Нужно искать возможности проверить описанные им события по другим данным, понять, кому он сочувствовал или, напротив, на кого пытался возвести хулу.

В итоге работа «историописателя» {Татищев употреблял этот термин вместо вошедшего в употребление в Академии наук «историограф», следуя своему общему курсу давать по возможности русские определения. Я.С. Лурье же и Е.М. Добрушкин расценили это как непонимание Татищевым разницы между историей и литературой} подобна труду архитектора. Историк, подобно «домовитому человеку», «к строению дома множество потребных припасов соберет и в твердом хранилище содержит, дабы, когда что потребно, мог взять и употребить». Но прежде чем начинать строительство, необходимо распланировать, куда что определить, «а бес того строение его будет или нетвердо, нехорошо и непокойно». Точно так же и для написания истории нужен «свободный смысл, к чему наука логики много пользует». Татищев полемизирует с теми, кто считает, что для историка достаточны «довольное чтение и твердая память». Но не согласен он и с теми, кто думает, будто «невозможно не во всей философии обученному истории писать». По мнению Татищева, «сколько первое скудно, столько другое избыточественно».

Строитель возводит здание не из первого попавшего под руку материала. Он должен «разобрать припасы годные от негодных, гнилые от здоровых». Точно так же и «писателю истории нужно с прилежанием рассмотреть, чтоб басен за истину и неудобных за бытия не принять, а паче беречься предосуждения». Историк должен заботиться «о лучшем древнем писателе», то есть лучшем тексте. А для этого «наука критики знать не безужно». Необходимо учитывать, знал ли древний автор о том, что описывал, был ли участником или современником событий, имел ли доступ к архивам, тщательно ли собирал свои материалы.

«Страсть самолюбия или самохвалство» — плохие советчики историка. Историк должен знать правду. При этом «о своем отечестве» историк «всегда более способа имеет правую написать, нежели иноземец... паче же иноязычный, которому язык великим препятствием есть». Здесь явный выпад против немецких академиков и их кумира Зигфрида Байера, который не знал славянских языков и не стремился их постигнуть, но претендовал на решение [347] одного из важнейших вопросов русской истории — происхождения Руси.

Древние авторы были пристрастны. Пристрастны и современные историки. Но это не снижает значения исторической науки. Напротив. Именно поэтому она так и важна. Об этом можно было бы и не «толковать». Но «некоторые» «не обходили о весках внятно и подробно рассматривать и рассуждать». Татищеву и «о бесполезности истории не без прискорбности рассуждения слышать случалось». Поэтому он считает нелишним разъяснить, в чем именно заключается «польза истории». Татищев считает историей весь человеческий опыт — и положительный и отрицательный. Все существующее в мире — и природа и люди — имеет свою историю. «Ничто само собою и без причины или внешнего действия приключиться не может». А выяснение причины и вызванного ею действия — это уже история. Так происходит в «стихиях» и «на земли», в мире живом и неживом. Знание накапливается от поколения к поколению. Оно складывается исторически и сохраняется благодаря истории. «Кратко можно сказать, — заключает Татищев, — что вся философия на истории основана и ею подпирается».

Особенно необходима история политическим деятелям. История помогает понять настоящее и предвидеть будущее. «Древние латины, — говорит Татищев, — короля их Януса з двема лицами изобразили, понеже о прошедшем обстоятельно знал и о будущем из примеров мудро рассуждал». «Александр Великий книги Омеровы о войне Троянской в великом почтении имел и от них поучался». Юлий Цезарь сам оставил записки в назидаение потомкам.

История имеет и огромное патриотическое значение. «Европейские историки» «порицают» нас тем, будто здесь не было «древних историй». Этому «некоторые наши несведующие согласуют». С другой стороны, вместо действительных историй «некоторые, не хотя в древности потрудиться и не разумея подлинного сказания, ...для потемнения истины басни сложа, ...правость сказания древних закрыли». Историк не должен приукрашивать свою историю. Однако необходимо «не токмо нам, но и всему ученому миру, что чрез нея неприятелей наших, яко польских и других, басни и сусчие лжи, к поношению наших предков вымышленные, обличатся и опровергнутся».

Не так давно М.Н. Тихомиров поражался «исторической проницательности» Татищева, в частности, тому, что [348] его выводы о «Несторовой летописи в некоторых случаях значительно опережают свое время и даже построения историков XIX века», что «построения Татищева более близки к нашему времени, чем систематический ученый труд Шлецера». И опережал эпоху он не только в этом. Выше упомянута оценка места Татищева в историографии С.М. Соловьевым. «Заслуга Татищева, — развивал он ту же мысль, — что он начал дело, как следовало начать: собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими, указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований, собрал известия древних и новых писателей о древнейшем состоянии страны, получившей после название России, — одним словом, указал путь и средства своим соотечественникам заниматься русской историей».

Татищев был родоначальником практически всех вспомогательных исторических дисциплин, которые по-настоящему стали разрабатываться лишь со второй половины XIX века, а кое в чем лишь в самое недавнее время. В высшей мере примечательно, что весь первый том его труда был посвящен анализу источников и всякого рода вспомогательным разысканиям, необходимым для решения основных вопросов. Именно наличием такого тома труд Татищева положительно отличается не только от изложения Карамзина, но даже и Соловьева. В XIX веке вообще не было работы, равной татищевской в этом отношении.

Татищев начинал. Он строил величественное здание российской истории, не имея предшественников. И тем более поразительно, как много он нашел такого, что наукой было принято лишь много времени спустя. Он, например, уже заметил, что в русских летописях часто наблюдается смешение в датах из-за того, что славянский

мартовский год приходилось подстраивать под византийский сентябрьский. Разницу в полгода в одних случаях выносили вперед, в других — продолжая византийский год. Весь XIX век этого не знал. Снова это открытие было повторено лишь в XX столетии. Татищев сумел понять сущность многого из того, что оказалось недоступным не только дворянской, но и буржуазной историографии. Б.А. Рыбаков эпиграфом к своему монументальному труду «Ремесло Древней Руси» (1948) взял формулу Татищева: «Ремесла — причина городов». А ведь еще совсем [349] недавно велись споры о том, что вызывало появление городов, и только марксизм указал на определяющую роль в этом процессе экономических причин. И.И. Смирнов в книге о восстании Болотникова (1951) обратил внимание на то, что Татищев первым указал на правильную причину Смутного времени: крепостническое законодательство. И потребовалось более столетия, прежде чем буржуазная наука сумела приблизиться к этому выводу. Трудно даже просто перечислить то, что Татищев сделал впервые. Хотелось бы лишь отметить еще его широкий, полный уважения ко всем народам взгляд вопреки тому, что иногда пытаются ему приписать скептики. Татищев неизменно и твердо придерживался принципа равенства всех народов. Он не подвергал рационалистической критике библейскую историю возникновения народов. Однако он полемизирует с теми, кто «библию равно ковер Милитрисы употребляют и на все, что токмо хотят, натягивают». «О древности» же народов, убежден Татищев, «нет нужды искать, ибо, конечно, так стары, как все народы, и туне един пред другим старейшинством преимущества исчет, разве един другого старее прославился или знатен стал». Идее равенства в данном случае соответствуют и естественный и божественный законы. Этой схемы не нарушают и вполне продуманные рассуждения о причинах «перемены» некоторыми народами своих языков: это тоже вполне естественный и никак не связанный с достоинством народов процесс. Татищев, безусловно, стремился показать величие своего народа. Но это делалось не за счет других народов и не в ущерб истине.

Пересказ всей пятитомной «Истории», конечно, невозможен и не нужен. Татищев, так же как позднее Н.М. Карамзин и многие другие историки прошлого столетия, следовал за летописями, принимая их погодное деление и перенося свои размышления и сомнения в примечания. Но татищевская «История» стоит особняком составом своих известий, что, как было сказано, и послужило основанием для разного рода сомнений в их надежности и даже добросовестности Татищева как историка. Разработка же вопроса происхождения «татищевских известий», по существу, только началась, а потому пока не [350] может быть поставлена точка даже и в оценке «Истории» в целом.

Весь первый том «Истории», как было сказано, составляет своеобразное источниковедческое и методологическое введение. Здесь дается обзор русских и иностранных источников с указанием на имеющиеся в них противоречия, несогласованности. Здесь же Татищев раскрывает свое понимание исторического процесса в целом, ищет истоки славянства, варягов, руси, рассуждает о верованиях, путях возникновения государственности, а также ее формах. Татищев осознает то, что так и не смогут уяснить позднее несколько поколений позитивистов: нельзя решить частных вопросов, не решив предварительно общих. Это не значит, конечно, что предлагаемые им решения оптимальны. Но только такой путь может привести к истине.

Следует, впрочем, иметь в виду, что в вопросах, так сказать, актуальных Татищев вполне сознательно отступал от того, что самому ему казалось истинным. Сначала Феофан Прокопович, а затем архиепископ Амвросий, сменивший Феофана на новгородской кафедре, представляли своеобразными цензорами, определявшими, какие места следует опустить или заменить как «стропотные» для простого народа. Татищеву, конечно, очень хотелось напечатать свою «Историю», и он готов был пойти на большие жертвы ради этого. Да и сам он, как человек, занимавший довольно высокие административные посты,

соглашался с тем, что народу нельзя говорить всю правду. Именно поэтому в «Истории» более сказывается влияние монархической концепции Прокоповича, чем в отдельных записках.

Татищев писал историю в то время, когда Байером, а затем Миллером создавалась норманская теория происхождения Руси. Татищев не удовлетворялся господствовавшей в XVII веке версией о славяно-вендском происхождении варягов, хотя и указывал на тесную связь Северо-Западной Руси с населенным славянами-вендами южным берегом Балтики (Вандалии германских и польских авторов средневековья). Но он не принял и норманской теории, тем более что эта теория, как было сказано, и в Швеции поначалу не встретила поддержки. Татищев оказался родоначальником «финской» теории, не получившей, впрочем, заметной поддержки в историографии. [351]

В «Повести временных лет» имеется одно-единственное упоминание о местах обитания варягов, причем поясняется, что они размещаются на восток от племен прусов (у Татищева «борусов»), ляхов и чуди «до предела Симова» и на запад «до земли Волошской и Агнянской». Татищев не понял, о каком «пределе Симове» в данном случае шла речь, хотя сам выражал недоумение по поводу отнесения некоторых восточноевропейских народов, в частности волжских болгар, к числу «семитских». А как раз Волжская Болгария, видимо, и мыслилась как таковой «предел», и именно с Волжской Болгарией граничили земли, по летописи, подчиненные Рюрику и его мужам. Но Татищев заметил, что на восток, скажем, отчуди по «морю Варяжскому» могли размещаться только финны, а потому и считал, что речь идет о Финляндии. К тому же, зная угрофинские языки (он называл их «сарматскими»), Татищев охотно «примерял» имена, топонимы, понятия к финской речи. Ему казалось существенным, что само имя «русь» может объясняться из финского как «красный». Между тем такое значение этноним мог получить в индоевропейских языках, тогда как в финские оно проникало как заимствование. Что касается западных пределов области обитания варягов, то они представлялись Татищеву уходящими куда-то к Англии и Италии. В действительности «англами» летопись именвала датчан, поскольку именно племя англов соседствовало со славянами у основания Ютландского полуострова.

В обоснованности «финской» версии Татищев еще более уверился после появления у ней) в 1748 году списка летописи, которую он назвал «Иоакимовой», поскольку связывал ее составление с именем первого новгородского епископа Иоакима-курсунянина. Именно Иоакимовская летопись долгое время оставалась полем сражения скептиков и защитников доброго имени Татищева. В ходе полемики при этом часто скептики ставили в вину Татищеву недостоверность каких-то данных привлеченной им летописи, а их оппоненты, защищая историка, стремились показать достоверность и всех явно сомнительных известий. В итоге спор становился бесплодным. Между тем у самого Татищева было немало сомнений и относительно происхождения рукописи (он не смог получить оригинала), и относительно отдельных включенных в нее сведений. Он предполагал за данными летописи [352] песенную основу, что, кстати, подтверждается новейшими исследованиями.

Первая часть Иоакимовской летописи, которая описывала расселение народов и производила народы от имен легендарных вождей (Славен, Скиф, Ванда и т.п.), вызывала сомнения и у Татищева. Позднее было указано на подобные построения в исторических сочинениях XVII века. Но вторая часть татищевских выписок неизменно привлекала внимание, поскольку как будто объясняла некоторые темные страницы начальной истории Руси. В самое последнее время В.Л. Яниным и В.И. Выщегородцевым приведены аргументы в пользу древнего происхождения рассказа о крещении новгородцев и некоторых других сюжетов этой части летописи. Внимания заслуживает, в частности, рассказ о борьбе с христианством Святослава, понятный только в свете еще продолжающейся борьбы христианства и язычества. Вообще Иоакимовская летопись совершенно лишена той христианской умиротворенности,

которой дышит «Повесть временных лет», воспринимающая язычество как нечто удаленное в пространстве и времени.

В ткань «Истории» выписки из Иоакимовской летописи Татищев не включил, «разсудя, что... ни на какой манускрипт известной сослаться нельзя». Но в примечаниях он к ней обращается часто, предусматривая, таким образом, возможность иной интерпретации событий, нежели той, что дается «Повестью». Это обстоятельство само по себе предполагало большую критичность его в отношении летописных текстов по сравнению с той, что допускали исследователи XIX столетия. Правда, у последователей неизменно расширялся круг источников. Однако и утраты также были невосполнимыми.

Татищев составление «Повести временных лет» приписывал печерскому монаху Нестору. В его распоряжении было три списка летописей, где упоминалось это имя. Теперь имеется лишь один — Хлебниковский список XVI века Ипатьевской летописи (в более раннем списке летописи — собственно Ипатьевском списке — имени летописца нет). В то же время Лаврентьевская летопись, которую сейчас обычно кладут в основу изданий «Повести временных лет» и в которой в качестве летописца назван игумен Выдубицкого монастыря Сильвестр, Татищеву не была известна. Вопрос об авторстве «Повести временных лет» остается спорным на протяжении [353] полутора столетий. Дело в том, что принадлежащие выходцу из Печерского монастыря Нестору «Чтение о Борисе с Глебе», а также «Житие Феодосия» решительно отличаются от соответствующих частей летописи и по языку, и по содержанию, и по мировоззрению. Ссылки же на «Несторову летопись» в Печерском патерике предполагают явно не «Повесть временных лет», а какое-то сочинение, уделявшее большее внимание церковной проблематике. Имел ли Татищев в своем распоряжении именно летопись какого-то Нестора (необязательно речь шла об одном и том же Несторе), или же имя это значилось в поздних списках, типа Хлебниковского, сейчас установить трудно. Бесспорно, однако, что в распоряжении историка были такие летописи, которыми теперь наука не располагает.

В последних исследованиях, в частности, в книге Б.А. Рыбакова, посвященной «Слову о полку Игореве» и русским летописцам XII века, предлагается определенный ключ к уяснению «татищевских известий». Их систематизация позволяет понять характер источника, которым пользовался Татищев. Так, в хронологических пределах «Повести временных лет» (то есть до начала XII века) «История Российская» дает ряд оригинальных сведений о внуке Ярослава Мудрого Ростиславе Владимировиче. Только в ней, в частности, указана дата рождения князя (1038 г.), а также названа его супруга — венгерская принцесса, вернувшаяся на родину после отравления Ростислава греческим котопаном (наместником) в Корсуне. Если пытаться объяснить источник только этих данных, то вряд ли удастся найти удовлетворительное решение. Когда же выявляется, что до конца 20-х годов XII века в «Истории Российской» использовалась какая-то особая галицкая летопись, то становятся понятными и дополнительные сведения о князе, который сам никогда в Юго-Западной Руси, возможно, и не бывал: потомки Ростислава княжили в городах Прикарпатья.

Летописи Галицко-Волынской Руси более всего были известны польским авторам XV—XVI веков, что и неудивительно, если учесть, что в послемонгольское время эти земли входили в состав польско-литовского государства. Татищев располагал подобными же летописями, только, видимо, более исправными. Во всяком случае, он постоянно поправляет польских историков, которые говорят примерно о тех же событиях. Так, польские [354] историки писали о завоевании Владимиром подунайских земель вплоть до Сербии и Хорватии. Такое представление питалось в известной мере и тем, что в XVI—XVII веках Хорватия иногда называлась «Руссией». Татищев также имел источники, говорившие о подчинении Владимиром

Седмиградской и Хорватской земель. Но он, во-первых, сомневался в достоверности этого сообщения, а во-вторых, резонно полагал, что имелась в виду Карпатская Хорватия — позднейшая Карпатская Русь.

Татищева нередко обвиняли в «создании» портретной галереи: в записях-некрологах в «Истории» в ряде случаев дается довольно подробное описание внешности умерших князей. Л. В. Милов недавно посвятил этим портретам-характеристикам специальное исследование и пришел к выводу, что они содержались в летописи, которую сам Татищев называл «Симоновой». Надо только иметь в виду, что «портреты» известны разным летописям, начиная с «Повести временных лет». В «Истории Российской» их больше, и они особенно обстоятельны. Татищев и сам заметил особое пристрастие к таким характеристикам одного летописца, который в 1143 году находился во Владимире Волынском и пел в церкви вместе с князем Игорем Ольговичем. По Татищеву, «он же видимо, что искусен был в живописи, что едва не всех в его время бывших князей лица и возраст описал, что во многих списках пропускано и сокращено».

Образцами подобных описаний могут служить портреты-характеристики Всеволода и Игоря Ольговичей. После смерти Мстислава Владимировича в 1132 году Киев стал объектом борьбы между потомками Владимира Мономаха и Олега Святославича, некогда соперничавшего со своим двоюродным братом. С 1139 года киевский стол занимал Всеволод Ольгович — отец героя «Слова о полку Игореве» Святослава Киевского. Умирая в 1146 году, Всеволод завещал киевский стол брату Игорю. Но киевляне не приняли еще одного Ольговича и обратились за помощью к Изяславу Мстиславичу, приглашая его на княжение. Восставшими горожанами Игорь был убит. Наиболее обстоятельно рассказывающая об этом Ипатьевская летопись резко осуждает киевлян главным образом потому, что Игорь готовился принять пострижение в монастырь. Летописец сразу же окружает Игоря ореолом святости, говорит о чудесах, явившихся следствием его мученической кончины, пугает киевлян неизбежной карой [355] за учиненное насилие. У Татищева примерно те же события получают несколько иную оценку, что проявляется прежде всего в портретах-характеристиках.

В некрологе, заключающем княжение Всеволода, отмечается, что «сей великий князь муж был ростом велик и вельми толст, власов мало на главе имел, брада широкая, очи немалые, нос долгий. Мудр был в советах и суждех, для того (т. е. поэтому), кого хотел, того мог оправдать или обвинить. Много наложниц имел и более в веселиях, нежели расправах упражнялся. Чрез сие киевляном тягость от него была великая. И как умер, то едва кто по нем, кроме баб любимых, заплакал, а более были ради. Но при том более есче тягости от Игоря, ведая его нрав свирепый и гордый, опасались».

Здесь уже отрицательная реакция киевлян на приглашение Игоря, по существу, оправдывается. Но портрет его выдержан, так сказать, в реалистических тонах: «Сей Игорь Ольгович был муж храбрый и великий охотник к ловле зверей и птиц, читатель книг и в пении церковном учен. Часто мне с ним случалось в церкви петь, когда был он во Владимире. Чин священнический мало почитал и постов не хранил, того ради у народа мало любим был. Ростом был средний и сух, смугл лицом, власы над обычай, как поп, носил долги, брада же уска и мала. Егда же в монастыри был под стражею, тогда прилежно уставы иноческие хранил, но притворно ли себя показуя или совершенно в покаяние пришел, сего не вею, но что бог паче весть совести человек».

Татищев в данном случае сохранил даже запись летописца о себе в первом лице. Он полагал, что все эти портреты принадлежали перу владимиристо-галицкого летописца, доказательство чему видел и во внимании к делам Юго-Западной Руси. По мнению Татищева, таким летописцем мог быть печерский монах Нифонт,

бывший одно время игуменом на Волыни, а затем новгородским епископом (умер в 1156 году). Такого рода служебные перемещения действительно часто объясняют появление новых источников у летописцев, составляющих какой-либо местный свод. Только никогда не следует торопиться назвать имя этого летописца. Скажем, Нестор — автор Жития Феодосия — также, видимо, писал во Владимире Волынском. Но самое существенное уточнение внес Б.А. Рыбаков, заметив, что летописец был несомненно светским человеком: с князем вместе он мог петь только на [356] клиросе. Как показал Б.А. Рыбаков, летописец был близким Изяславу Мстиславичу человеком, сопровождавшим его и при перемещениях с одного стола на другой. А как раз до 1143 года Изяслав занимал Владимир Волынский.

Татищев все-таки представлял все летописание до 1156 года в качестве своеобразной эстафеты, где летописцы, сменяя один другого, трудятся над одной и той же летописью. Поэтому он старался «исправить» и «дополнить» текст, когда встречался с расхождениями в описаниях и оценках. Позднее Шлецеру летописание будет представляться таковым даже до начала XIII века. Поэтому он и считал, что прежде написания истории надо реконструировать летопись. Критики «Истории» Татищева часто смотрели на летописание подобным же образом, а потому практически в любых изменениях им текста своего сочинения (в частности, в изменениях, вносимых во вторую редакцию по сравнению с первой) видели «фальсификации». С.Л. Пештич в этой связи особенно настаивал на редактировании Татищевым портрета-характеристики Юрия Долгорукого. Действительно, Татищев уже в первой редакции проявил неуверенность, фактически опустив описание внешности. Во второй же редакции один текст был зачеркнут и вместо него написан иной: «Сей великий князь был роста не малого, толстый, лицом белый, глаза не вельми, великий нос долгий и на-кривленный, брада малая, великий любитель жен, сладких пищ и пития, более о веселиях, нежели о расправе и воинстве прилежал, но все оное состояло во власти и смотреии вельмож его и любимцев. И хотя, несмотря на договоры и справедливость, многие войны начинал, обаче сам мало что делал, но большее дети и князи союзные, для того весьма худое счастье имел и три раза от оплошности своей Киева изгнан был».

Существенное отличие от зачеркнутого текста заключалось в описании внешности: в зачеркнутом тексте — «нос краткий, нагнут». Б.А. Рыбаков высказал догадку, что исходный текст был трудночитаемым (речь-то идет лишь о форме носа), а окончательная редакция вполне согласуется с изображением миниатюры Радзивилловской летописи. Добросовестность же Татищева, по мнению историка, засвидетельствована своеобразной полемикой, которую автор «Истории Российской» вел в примечаниях к тексту с летописцем.

Пolemика эта действительно примечательна. Ведь [357] С.Л. Пештич считал, что текст фальсифицировался «в угоду монархическим и крепостническим взглядам». В тексте же «Истории» защищается принцип феодальной раздробленности: каждый держит отчину свою. Идею единой державы в ней проводит в своей речи «Изяславичев злодей» Юрий Ярославич Туровский, настаивавший на подчинении всех князей Юрию Долгорукому, как старейшему. Противоположную политическую линию проводил в обращении к отцу Андрей Юрьевич. И тот и другой ссылались на исторические примеры: Юрий брал их из «святого писания», а Андрей из собственно русской истории, напомнив о пагубном намерении Ярополка Святославовича и Святополка Владимировича установить единое государство.

Примечание Татищева интересно и с точки зрения уяснения его политических воззрений. «Сии два разсуждения, — пишет он, — едино другому противно. Первое — политическое к приобретению силы, славы и чести государства, ибо то довольно всякому известно, что монархическим правлением все государства усиливаются и разпространяются, от нападений неприятелей безстрашны... Другое же — на

правилах морали и закона естественного утверждается, и есть подлинно, взирая на гражданина, правильно и благочестно; но иное к сему правительству право, как то совершенно после такое государей разделение безсилie изъявило».

У Татищева, как можно видеть, нет однозначной оценки спора, данного в его летописном источнике однозначно с позиций Изяславичей, боровшихся с притязаниями Юрия Долгорукого на единодержавие. Он, конечно, за единодержавие, как наиболее целесообразную для России форму политического устройства. Но «закону естественному», оказывается, более соответствовала своеобразная феодальная демократия. Рассуждение Андрея Юрьевича само по себе «правильно и благочестно». Но путь этот ведет к ослаблению государства. Очевидно, должна быть найдена такая форма, которая позволила бы соединить вытекающие из естественного закона права граждан с принципом единодержавия. И хотя Татищев понятие «единодержавие» отождествлял с монархией, ратовал за нее именно потому, что иных форм единодержавия не видел.

Б.А. Рыбаков убедительно доказал, что большинство «татищевских известий» восходят к летописной традиции XII века, связанной с домом Мстиславичей, потомков [358] Мстислава Владимировича. Именно в рамках этой летописной традиции постоянно возвышалась роль боярства, к чему сам Татищев должен был относиться настороженно (хотя и необязательно враждебно). Летописание это было более светским, чем любая из известных нам летописей. И эта особенность использованного Татищевым источника объяснена Б.А. Рыбаковым: в XII веке провиденциализм еще не подчинил мирскую жизнь. Богословские назидания по тому или иному случаю появятся под пером позднейших редакторов и сводчиков.

Если через летописание Мстиславичей в «Историю» Татищева попадали многие оригинальные известия о Галицко-Волынской Руси, а само это летописание, возможно, более всего сохранялось как раз на юго-западе, то события в Руси Северо-Восточной у историка часто даются в проростовской окраске, в то время как «каноническая» Лаврентьевская летопись чаще держится владимирской традиции. Бесспорным свидетельством наличия у Татищева более ранних и достоверных источников является рассказ «Истории» о гибели Андрея Боголюбского. Повесть об убиении Андрея Боголюбского помещена в древнейших доступных нам Лаврентьевской и Ипатьевской летописях. У Татищева же обнаруживаются существенные разночтения с ними. Так, у него указывается на участие в заговоре против князя его собственной супруги. Неожиданное подтверждение правильности этого сообщения обнаруживается в миниатюрах Радзивилловской летописи. Вне связи с текстом на одной из них изображена женщина, которая держит отрубленную левую руку.

По «каноническим» летописям получается, что князю первоначально отрубили правую руку. Татищев в соответствии с изображением миниатюры говорит о **левой** руке. Вопрос, может быть, так бы и остался неразрешенным, если бы не одно обстоятельство: останки князя сохранились и антропологическое обследование показало, что отрублена была именно левая рука. Татищевский текст получает, таким образом, приоритет перед древнейшими известными летописями.

В «Истории Российской» имеется еще один довольно богатый фонд известий, который может восходить к ростовскому летописанию: это различные фольклорные сюжеты, связанные с подвигами героев-богатырей. Подобные известия имеются в Никоновской летописи, где они также нередко носят проростовскую окраску. Но в [359] татищевской «Истории» подчас даются несколько иные сюжеты. Главным героем татищевских дополнений является Александр Попович, который и в большинстве былин связывается с Ростовом (в то время как, скажем, Добрыня Никитич часто называется «рязаничем»).

Ростов в русской истории вообще играл большую роль, чем это представляется по сохранившимся летописям, хотя и они с этой точки зрения остаются недостаточно

оцененными. Необходима работа и о ростовском летописании, которое может реконструироваться именно на материале «Истории Российской» с привлечением также позднейших сборников исторического содержания. Ростов чем-то походил на Новгород: здесь также княжеская власть ограничивалась боярством, а епископ почитался больше князя. К тому же Ростов постоянно соперничал с Владимиром и Суздалем, следовательно, события получали здесь иное освещение, нежели в этих княжеских центрах. У Татищева была особая Ростовская летопись, ростовский материал, видимо, включался в Симонову летопись, а также в отдельные «топографии» — местные истории. Не исключено, что и наиболее весомые источники Татищева — летописи Раскольничья и Голицынская — давали материал Северо-Восточной Руси в ростовской интерпретации.

Татищев снабдил примечаниями только часть летописи до 1238 года. Это второй и третий тома «Истории». После дующую часть татищевского свода часто считают лишь списком Никоновской летописи. Это, однако, неверно. Никоновская летопись не позволяет понять многих специфических чтений «Истории» и в этой части. Уже в рассказе о татаро-монгольском нашествии имеются сведения, отсутствующие в известных сводах. Встречаются они и далее. Многие неясные события можно понять именно с привлечением таких показаний «Истории».

Известно, например, сколь затруднительно преодоление противоречий, выявляющихся в источниках, посвященных Куликовской битве и последовавшему затем нашествию Тахтамыша. Неясно, в частности, почему Дмитрий пошел на такую крайнюю меру, как изгнание митрополита Киприана после возвращения на пепелище. У Татищева же это решение князя имеет естественное объяснение: Киприан подбивал тверского князя добиваться в Орде ярлыка на великое княжение. Изгнание Киприана вместе с духовником Владимира Андреевича Серпуховского Афанасием указывает и на еще одно направление [360] в деятельности митрополита: стремление поссорить московского князя с его двоюродным братом, намек на что просматривается и в некоторых летописях. Имеются у Татищева и дополнительные сведения, объясняющие причины расхождений Дмитрия с Олегом Рязанским.

По первоначальному плану Татищев собирался довести изложение до 1613 года — возведения на престол Михаила Романова. В этих хронологических пределах он выделял два периода: «от пришествия татар до опровержения, власти их и возстановлении древней монархии первым царем Иоанном Великим». Только рубежом берется не 1480 год, когда пало ордынское иго, а начало княжения Ивана III в 1462 году. Основными источниками и этих частей остаются летописи. Но привлекаются также отдельные повести и другие сочинения.

Вторая половина XVI века у Татищева не выстроилась в непрерывное погодное изложение. Таково было состояние летописных источников: летописание, ставшее в середине столетия официальным, государственным делом, было прервано с 60-х годов, когда начались массовые репрессии и опалы воздвигались часто на тех, кто совсем недавно находился на вершине фавора.

Прямое сообщение об учреждении опричнины в настоящее время известно лишь в одной — так называемой Александро-Невской летописи. Ее в распоряжении Татищева, очевидно, не было. Но косвенных данных достаточно много. Поэтому отсутствие сведений о ней в «Истории» побуждает поставить вопрос: а как он к ней вообще относился? В «Рассуждении» о событиях 1730 года Татищев ведет воображаемый спор с теми, кто считает, что «вымышленная свирепым царем Иваном Васильевичем Тайная канцелярия в стыд и поношение пред благоразсудными народы, а государству разорение, ибо за едино неосторожно сказанное слово пытаются, казнят и детей невинных имения лишают». Татищев согласен, что так бывает. Примером такого рода («не хочу далеко искать, но всем нам довольно знакомое») являются и «неистовые временщики» Скуратов и Басманов, то есть те, с кем и связывалась непосредственно опричнина. Но он

возражает против мнения, будто Тайная канцелярия лишь российское явление, и не видит большой беды в учреждении, если во главе его будет поставлен кто-то «благочестивый и справедливый».

Большим материалом, в том числе и утраченным [361] ныне, располагал Татищев по самому концу XVI — началу XVII века. Эта эпоха его особенно привлекала по ряду причин. Во-первых, его постоянно интересовал крестьянский вопрос, то есть причины установления крепостного права. Он собирал указы и прочие документы, которые могли бы пролить свет на этот вопрос. Во-вторых, в Смуте просматривался кризис и государственной системы: надо было разобраться в причинах столь тяжелых для государства событий. В-третьих, с 1598 по 1613 год сменилось несколько монархов разных династий: представлялась возможность порассуждать о «законных» принципах избрания самодержцев. И хотя Татищев не свел воедино свои выписки — это одна из наиболее компактных собранных им подборок источников.

По первоначальному плану Татищев не собирался выходить далее 1613 года, но материал собирал и на весь XVII век, далее по время Петра I. Более всего Татищева в этом случае затрудняла не сама работа («яко более известей сохранных остается»), а ее излишняя злободневность. «В настоящей истории, — оправдывается он, — явятся многих знатных родов великие пороки, которые если писать, то их самих или их наследников подвигнуть на злобу, а обойти оные — погубить истину и ясность истории или вину ту на судивших обратить, еже бы было с совестью несогласно, того ради оное оставляю иным для сочинения».

В соответствии с представлениями и потребностями эпохи Татищев писал историю государства. Поэтому погодно излагались основные политические события, как они отмечались и летописями или иностранными хрониками.

Социальные вопросы Татищевым рассматривались главным образом в его исследованиях и подготовленных публикациях по истории русского права. Публикации «Русской Правды» и Судебника 1550 года были готовы уже к концу 30-х годов. Но немецкая Академия наук их не выпустила в свет. М.Н. Тихомиров причину этого видел в том, что Татищев «правильно оценил значение «Русской Правды» как памятника русского права, отвергнув представление о заносном, норманском, происхождении древнейших русских законов». Сам Татищев с сожалением отмечал, что кое-кто «печатать более за вред и поношение, нежели за пользу и честь, почитают».

За пределами основного исторического труда остались также многочисленные собранные Татищевым [362] этнографические материалы. Одних пословиц он записал около полутора тысяч. Много данных было получено им в ответах на разосланные анкеты. Не вполне ясно, как даже он намеревался использовать все эти материалы. Определенный выход в этой связи просматривается в задуманных им «лексиконах». Но этим вопросом практически еще и не занимались. Достаточно сказать, что историческое содержание «Лексикона российского исторического, географического, политического и гражданского», опубликованного еще в конце XVIII века, стало темой специального исследования лишь в самое недавнее время (статья Л.Н. Вдовиной). Правда, были собственно лингвистические исследования и публикации. Но некоторые из татищевских «лексиконов» пока не разысканы.

Г.В. Плеханов в труде, посвященном истории общественной мысли в России, дал много ярких и метких характеристик отдельным русским мыслителям. У Плеханова не было многих материалов, которыми располагает современный исследователь. И тем не менее его характеристики поражают проницательностью. Это вполне относится и к Татищеву. «По методу своего мышления, — подчеркивал он, — прошу читателя заметить: по методу мышления, а не по отдельным взглядам, Татищев является как бы главою многочисленного рода просветителей, очень долго игравшего влиятельную и

плодотворную роль в нашей литературе. Если он был первым выдающимся представителем этого рода, то Чернышевский и Добролюбов были самыми передовыми, крупными и блестящими его представителями. После них он начал быстро мельчать и клониться к упадку» {Плеханов Г.В. Соч., т. XXI. с. 77}.

У Плеханова в данном случае проступает одна серьезная ошибка: он не учитывает того, что Чернышевский и Добролюбов являются вершиной революционно-демократической традиции, идущей от Радищева. Зато и в отношении Татищева можно снять оговорку: «по методу мышления». И по отдельным взглядам Татищев также был просветителем, хотя его иногда и путали выводы, которые необходимо было сделать из собственных посылок. Но в этом, собственно, и заключается внутренняя противоречивость просветительства. Полстолетия спустя Радищев сделал те выводы, которые старался обойти Татищев. И это означало переход от просветительства к революционно-освободительному движению.